

АЛІСА СКАУТ



БАБА ЯГА

ДЖОН УИК

НАЧАЛО

18+

Алексей Агапов
Джон Уик-Начало

«Автор»

2026

Агапов А.

Джон Уик-Начало / А. Агапов — «Автор», 2026

— Твой отец всегда говорил, что ты особенный. «У моего парня стальные нервы», — так он говорил. Что ж, посмотрим. Он протянул руку. Джардани посмотрел на эту руку — длинные пальцы, побелевшие костяшки, на запястье — татуировка в виде латинской фразы, непонятной мальчику.

© Агапов А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 3. Уроки боли	12
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Алексей Агапов Джон Уик-Начало

Глава 1. Подгорье

Зима в Подгорье не наступала стремительно. Она просачивалась в поры земли медленно, словно холодная вода в старый погреб. Сначала замирали птицы. Потом черные ветви берез покрывались стеклянной коркой, и ветер переставал гудеть в кронах, а начинал скрежетать, как нож по точильному камню. Беларусь, середина семидесятых — время, застывшее между тяжелым эхом войны и глухой тишиной советского забвения.

Джардани Йовонович сидел на крыльце покосившегося дома и смотрел на дорогу. Его босые ступни уже онемели, но он не чувствовал холода. Мальчику было восемь лет, и он рано научился отделять свое тело от своих ощущений. Отец называл это «дурь», когда заставлял его сидящим на снегу, но в глубине души уважал эту непонятную, звериную выносливость.

Дом Йовоновичей стоял на отшибе — три комнаты, печь, да сарай, где отец держал старый мотоцикл «Урал» с ржавой коляской. Мотоцикл не заводился уже вторую зиму, но отец все равно каждый вечер спускался к нему с масляной тряпкой и что-то подкручивал при свете керосиновой лампы. Джардани любил эти моменты: запах бензина, металла, и тяжелое, уверенное молчание отца.

Мать была другой. Мягкой, как мякиш свежего хлеба, с темными кругами под глазами и вечно потрескавшимися от работы пальцами. Она пела по вечерам — старые песни на смеси русского и белорусского, от которых у Джардани щемило в груди. В этих песнях говорилось про леса, про волков, про воинов, не вернувшихся домой. Мальчик не понимал слов, но впитывал ритм. Ритм потом останется с ним на всю жизнь, как биение второго сердца.

В тот вечер мать пекла хлеб. В доме пахло кислым тестом и тмином. Отец вернулся из райцентра притихшим — он бросил на стол тяжелую авоську с крупой, поцеловал жену в висок и посмотрел на Джардани так, будто видел впервые.

— Ты уже большой, — сказал он негромко. — Завтра покажу тебе кое-что.

Джардани кивнул. Он не задавал лишних вопросов. В доме Йовоновичей вопросы были роскошью, а роскошь не приветствовалась.

Ночью мальчик проснулся от запаха дыма.

Сначала он подумал, что мать растопила печь слишком сильно. Но дым был едким, чужим — он пах не березовыми дровами, а горящим бензином. Джардани вскочил с лежанки и бросился к двери. В сенях уже клубился черный маслянистый туман.

— Мама! — закричал он, но голос сорвался в хрип.

Чьи-то руки схватили его за плечи и швырнули обратно в комнату. Это был отец. Его лицо было перекошено, глаза блестели в отсветах пламени, пробивающегося сквозь окна.

— В подпол. Быстро. И не вылезай, пока я не скажу. Слышишь меня, Джардани? Не вылезай ни за что.

Он почти силой запихнул сына в узкий лаз под половицами. Крышка захлопнулась, погрузив мальчика в абсолютную темноту. Сверху слышались шаги, крики на чужом языке, звон разбитого стекла. Потом прозвучал выстрел. Один. Второй. Третий.

Джардани сжался в комок и зажал уши ладонями, но глухие удары все равно проникали сквозь пальцы, отдаваясь где-то в груди. Он не плакал. Он вдруг отчетливо понял, что слезы не помогут — нужно просто замереть, стать меньше собственного дыхания, превратиться в тень. Воля к жизни — вот что включилось в нем в тот момент, еще неосознанная, но уже несокрушимая.

Когда все стихло, он выждал не меньше часа. Выбрался наружу. Дом догорал.

Мать лежала у печи. Отец — у порога, сжимая в мертвых пальцах охотничий нож. Джардани не подошел к ним. Он стоял и смотрел, как огонь доедает стропила, как рушится внутрь крыша, как взлетают к небу снопы искр, смешиваясь с крупными снежинками. Снег падал густо, словно природа пыталась прикрыть белым саваном то, что не должно было случиться.

Сколько он простоял так — час, два, вечность? — мальчик не знал. Рассвет застал его сидящим на обугленных ступенях, укутанным в обрывок обгоревшего одеяла, которое он вытащил из-под завала. Глаза болели от дыма, в горле першило, но он не издавал ни звука.

По дороге затарахтел двигатель. Из предрассветного тумана вынырнул черный автомобиль — машина, каких Джардани никогда не видел в своей деревне: тяжелая, блестящая, с заграничными номерами. Она остановилась точно напротив того, что осталось от дома.

Дверь открылась. Из машины вышел человек.

Он был высок и худ, одет в длинное черное пальто, совершенно не деревенского покроя. Его лицо казалось вырезанным из старого дерева — сухое, морщинистое, с острыми скулами и глубоко посаженными глазами. В уголке рта тлела папираса. Человек подошел медленно, оглядел пепелище, потом перевел взгляд на мальчика.

— Ты Джардани, — произнес он по-русски, но с едва уловимым акцентом. Это был не вопрос. — Сын Луки.

Мальчик не ответил. Он поднял глаза на незнакомца, и в этом взгляде уже не было ничего детского.

— Меня зовут Петр, — продолжил человек. — Я друг твоего отца. Мы вместе служили. Я знал, что с ним случится беда. Опоздал.

Петр затаился, выпустил струю дыма в морозный воздух.

— Ты видел тех, кто это сделал?

Джардани кивнул. Голос вернулся не сразу, но все же вернулся — сухой, ломкий:

— Их было четверо. Говорили на языке, которого я не знаю.

— Хорошо. Узнал бы их лица?

— Узнал бы.

Петр чуть заметно усмехнулся — печально, с примесью гордости.

— Твой отец всегда говорил, что ты особенный. «У моего парня стальные нервы», — так он говорил. Что ж, посмотрим.

Он протянул руку. Джардани посмотрел на эту руку — длинные пальцы, побелевшие костяшки, на запястье — татуировка в виде латинской фразы, непонятной мальчику.

— Пойдем со мной, — сказал Петр. — Здесь для тебя ничего не осталось. А мертвых мы помянем позже, в другом месте.

Джардани встал. Он не оглянулся на развалины. Он пошел за Петром к машине и сел на заднее сиденье, пахнущее кожей и табаком. Автомобиль тронулся, увозя мальчика из Подгорья навсегда.

Путь был долгим. За окнами мелькали заснеженные поля, убогие станции, леса, снова поля. Петр почти не разговаривал, только изредка поглядывал на мальчика в зеркало заднего вида. Один раз он остановился у придорожного трактира, заказал горячего чая и черного хлеба. Поставил перед Джардани.

— Ешь.

— Я не голоден.

— Ешь, когда дают. Никогда не знаешь, когда поешь в следующий раз.

Джардани съел хлеб. Запил обжигающим чаем. В животе потеплело, и он впервые за много часов почувствовал, что все еще жив.

Когда они снова тронулись в путь, Петр нарушил молчание тоном лектора:

— Твой отец был человеком старой закалки. Он ушел из дела, когда родился ты. Хотел жить тихо. Но в нашем мире, мальчик, тихо не живут. Тишина — это отсрочка, не более.

— Что это за мир? — спросил Джардани.

— Узнаешь. Скоро. А пока запомни одну вещь. — Петр обернулся, чтобы посмотреть ему прямо в глаза. — Единственное твое настоящее оружие — это воля к жизни. Никакие пистолеты, ножи, деньги не помогут тому, кто внутри уже сдался. Ты понял?

— Понял, — ответил Джардани, хотя на самом деле понял еще не до конца. Он просто запомнил, как запоминают таблицу умножения — на всякий случай, для применения позже.

Путь завершился в Минске, а оттуда — самолетом. Для деревенского мальчика самолет был чудом, но он не выказал восторга. Он впитывал все молча: процедуру паспортного контроля, толпы чужих людей, гул турбин. Казалось, что прошлое стирается с каждым километром, как старый сон.

Нью-Йорк встретил его оглушительной какофонией звуков и запахов. После стерильной белизны заснеженных полей город показался гигантским живым организмом, перемалывающим внутри себя миллионы судеб. Автомобиль вез их сквозь джунгли из стекла и бетона, мимо желтых такси, кричащих вывесок, людей в плащах, спешащих куда-то под моросящим дождем. Джардани прижался лбом к холодному стеклу и смотрел, смотрел, пытаясь осознать масштаб этого нового мира.

Машина свернула в переулок и остановилась перед массивным зданием с колоннами. Над входом горела вывеска, написанная чужими буквами и русскими словами: «Театр Тарковский». Фасад выглядел заброшенным — облупившаяся штукатурка, темные окна, тяжелая дубовая дверь с трещинами. Но что-то в этом месте заставляло сердце биться чаще, словно здание обладало собственной, очень древней душой.

— Выходи, — сказал Петр.

Джардани выбрался из машины под моросящий дождь. Вблизи театр казался еще более мрачным. На стене виднелся барельеф — две мужские фигуры в странных позах, то ли танцующие, то ли борющиеся. Мальчик не мог разобрать, но ощутил исходящую от них угрозу.

Петр распахнул тяжелую дверь. Изнутри пахло теплом, пылью, запахом старого дерева и чего-то сладковатого, похожего на ладан. Внутри царил полумрак, рассекаемый лишь светом тусклых ламп. Огромный холл с колоннами уходил ввысь, теряясь в темноте. С потолка свисала гигантская хрустальная люстра, не горевшая, но все равно внушавшая трепет. Пол был выложен черно-белой плиткой, словно шахматная доска.

— Сними обувь, — велел Петр. Джардани послушался и оставил свои разбитые ботинки у порога.

В глубине холла стояла женщина. Она была одета в строгое серое платье, волосы убраны в тугий узел. Лицо ее было бледным, почти фарфоровым, а глаза — темными и бездонными, как озера в сумерках. Она смотрела на мальчика долгим, изучающим взглядом, и в этом взгляде не было ни капли материнской теплоты.

— Это он? — спросила женщина. Голос ее был глубок, с легкой хрипотцой.

— Да, госпожа Директор, — ответил Петр, чуть склонив голову.

Женщина подошла ближе. Ее каблуки звонко цокали по плитке, и этот звук эхом разносился под сводами театра. Она остановилась перед Джардани, возвышаясь над ним, как башня.

— Меня зовут Директор, — произнесла она спокойно. — И с сегодняшнего дня твоя жизнь принадлежит этому театру. Ты будешь учиться. Ты будешь страдать. И однажды, если выживешь, ты станешь частью этого мира.

Джардани не отвел взгляда. Он смотрел ей прямо в глаза — так же, как смотрел на догорающий дом. Внутри него боролись страх и холодная решимость.

— Ты слышал, что сказал Петр про оружие? — продолжила Директор, чуть прищурившись. — Это правда. Но есть еще кое-что. Искусство — это боль. Жизнь — это страдание. И путь в рай начинается из ада. Запомни это, Джардани Йовонович. Запомни крепко.

Она развернулась и пошла прочь, не прощаясь. Стук каблуков растаял в темноте.

Петр положил руку на плечо мальчика.

— Пойдем. Я покажу тебе, где ты будешь спать. Завтра начнется твой первый урок.

Джардани бросил последний взгляд на входную дверь. Он знал: обратной дороги нет. Там, за дверью, не осталось ни Подгорья, ни родителей, ни прошлого. Там — только пепелище. А здесь, в чреве этого огромного каменного зверя, ему предстояло родиться заново.

Мальчик пошел за Петром вглубь театра, туда, где за пыльным бархатным занавесом скрывались бесчисленные коридоры и тайные лестницы. Где-то наверху послышался приглушенный хлопок — то ли выстрел, то ли хлопок тренировочного мата. Джардани не вздрогнул. Его губы беззвучно повторяли только что услышанные слова: «Воля к жизни — твое единственное настоящее оружие».

Он еще не знал, что пройдут годы, и эти слова станут его личной молитвой. Он еще не знал, что имя ему скоро дадут новое — короткое, звучное, как затвор пистолета. Имя, которое будут шептать с ужасом и благоговением в самых темных углах преступного мира.

Джон Уик.

Но до этого было еще далеко. А пока — длинный коридор, убогая каморка с железной кроватью, запах сырости и жесткое одеяло. И первый шаг в ад, из которого лежит дорога в рай.

Глава 2. Театр «Тарковский»

Первый рассвет в новом мире Джардани встретил на жесткой железной кровати, укрывшись колючим казенным одеялом, от которого пахло нафталином и чужой жизнью. Каморка, куда его привел Петр накануне, была крошечной — три шага в длину, два в ширину, узкое окно под самым потолком, забранное ржавой решеткой. Сквозь мутное стекло пробивался слабый, словно разбавленный водой свет.

Мальчик сел, спустил босые ноги на холодный каменный пол и замер, прислушиваясь. Здание дышало. Где-то в его недрах гудели трубы, скрипели половицы, доносились приглушенные голоса — неразборчивые, как шум далекого прибоя. Театр «Тарковский» просыпался, и вместе с ним просыпалась та странная, скрытая от посторонних глаз жизнь, частью которой отныне предстояло стать маленькому белорусскому сироте.

Дверь отворилась без стука. На пороге стоял Петр, одетый все в то же черное пальто, словно он никогда его не снимал.

— Подъем, — сказал он буднично. — Умоешься, поешь. Через час первый урок.

— Какой урок? — спросил Джардани.

— Тот, который сохранит тебе жизнь.

Умывальная комната находилась в конце коридора и напоминала общественную баню, только без пара. Длинный ряд раковин с треснувшей эмалью, зеркало во всю стену, покрытое паутиной мелких трещин, и вода, текущая из крана рывками, ледяная даже летом. Джардани ополоснул лицо, посмотрел на свое отражение. Из мутного стекла на него глядел бледный мальчишка с заострившимися скулами и синяками под глазами, в которых застыло выражение, не свойственное детям. То была смесь настороженности и смирения — как у зверька, попавшего в капкан, но еще не решившего, стоит ли отгрызать себе лапу.

Завтракали в общей трапезной — огромном помещении, бывшем некогда театральным фойе. Столы были расставлены длинными рядами, как в казарме. За ними сидели люди — в основном молодые парни, лишь немногим старше Джардани, но попадались и девушки, и взрослые мужчины с тяжелыми, обветренными лицами. Все они ели молча, сосредоточенно, не поднимая глаз от тарелок. Никто не смотрел на новенького. Никто ни о чем не спрашивал.

Джардани поставил поднос рядом с пареньком азиатской внешности, который методично поглощал овсянку, держа ложку в левой руке.

— Меня зовут Джардани, — сказал он тихо.

Парень поднял на него глаза — и в них не отразилось ровным счетом ничего. Пустота. Вежливая, отрепетированная пустота.

— Здесь у всех новые имена, — ответил он бесцветным голосом. — Твое скоро тоже поменяют.

Больше он не проронил ни слова.

После завтрака Петр повел Джардани сквозь лабиринт коридоров, уводящих куда-то в самое сердце здания. Театр «Тарковский» был похож на айсберг: снаружи он казался заброшенным архитектурным памятником, но внутри скрывал бесчисленные этажи подземных залов, тренировочные площадки, тир, склады оружия и жилые блоки. Мир под миром. Государство в государстве.

— Театр — это прикрытие, — говорил Петр на ходу. — Здесь занимаются не только балетом и драмой. Здесь куют оружие. И оружие это — люди. Такие, как ты.

— Почему я? — спросил Джардани.

— Потому что твой отец был одним из лучших. И потому что ты выжил. Смерть дважды стояла у твоего порога, и ты не открыл ей дверь. Это качество. Здесь его будут развивать.

Они остановились перед массивной дверью, обитой железными полосами. Петр толкнул ее, и Джардани шагнул внутрь.

Зал был огромен. Раньше здесь, очевидно, репетировала балетная труппа: вдоль стен тянулись станки, пол был устлан старым, истертым до дыр паркетом, а одна стена представляла собой сплошное зеркало, в котором множились отражения входящих. Но сейчас в зале не танцевали. В центре, скрестив руки на груди, стояла Директор.

При дневном свете она казалась еще более пугающей. Строгое серое платье было выглажено до остроты лезвия, волосы стянуты так туго, что, казалось, натягивали кожу на скулах. Ее глаза — два бездонных черных колодца — изучали Джардани с холодом анатома, вскрывающего труп.

— Подойди, — произнесла она.

Мальчик повиновался. Он шел по скрипучему паркету, и ему казалось, что воздух вокруг густеет, становится плотным, как вода.

— Ты — чистый лист, — сказала Директор, когда он остановился в трех шагах от нее. — На тебе нет клейма этого мира. Ты не знаешь его правил. Ты не знаешь его языков. Ты даже не знаешь, кто ты сам. Все, чему тебя учили раньше — неправда. Деревенские сказки, бабушкины молитвы, советские лозунги — забудь. Они здесь бесполезны, а значит, смертельно опасны.

Она обошла его по кругу, как хищник обходит добычу. Джардани стоял неподвижно, чувствуя спиной ее взгляд.

— Петр сказал, что твой отец учил тебя терпеть боль.

— Да, — ответил мальчик.

— Покажи.

Джардани замешкался на секунду, потом вытянул левую руку ладонью вверх. Он не знал, что именно нужно показать. Но Директор перехватила его запястье с неожиданной силой, заломила палец — резко, профессионально, на грани перелома.

Боль вспыхнула ослепительной белой молнией. Джардани дернулся, но не вскрикнул. Он закусил губу и выдержал. Секунду, две, три. Директор смотрела ему в глаза и видела там не панику, а странный, загорающийся глубоко внутри огонек.

— Неплохо, — произнесла она, отпуская его руку. — Для деревенского мальчишки. Но это лишь начало.

Она указала на один из балетных станков.

— Встань туда. Положи руку на перекладину.

Джардани выполнил приказ. Директор подошла сзади и принялась поправлять его позу — жесткими, почти грубыми движениями.

— Балет — это основа, — объяснила она. — Тело должно быть послушным инструментом. Каждый мускул, каждый сустав — струна, настроенная на действие. Ты думаешь, киллер

— это тот, кто хорошо стреляет? Нет. Киллер — это тот, кто танцует со смертью. А танец требует дисциплины.

Она хлопнула в ладоши. Эхо заметалось под потолком.

— Ева!

Боковая дверь отворилась, и в зал вошла девочка. Она была примерно того же возраста, что и Джардани, но держалась с совершенно иной грацией — прямой, как натянутая тетива. Черные волосы коротко подстрижены, лицо сосредоточенное, но в глазах — искры живого, острого ума.

— Ева Макалло, — представила ее Директор. — Она здесь уже два года. Теперь вы будете учиться вместе. Ева покажет тебе основы.

Девочка подошла к Джардани и оглядела его с ног до головы — быстро, оценивающе.

— Ты никогда не занимался, — констатировала она. — Будешь много падать.

— Я не падаю, — ответил Джардани.

— Будешь, — спокойно повторила Ева. — Все падают.

В течение следующего часа она показывала ему базовые позиции — первую, вторую, пятую. Джардани повторял неуклюже, угловато, мышцы дрожали от непривычного напряжения. Ева поправляла его движения легкими, почти незаметными касаниями, и всякий раз, когда он оступался, успевала подхватить его под локоть — быстрее, чем он успевал понять, что теряет равновесие.

— Ты быстрая, — заметил он.

— Это называется подготовка к реакции на опережение. Тебя тоже научат.

Директор наблюдала за ними с возвышения, сидя в старом бархатном кресле, которое словно перенесли сюда из зрительного зала вековой давности. Она не вмешивалась, лишь иногда делала лаконичные замечания.

— Спина прямее. Шея свободна. Дыхание ровное. Боль — это ритм. Слушай его.

Джардани слушал. Боль действительно имела ритм. Она пульсировала в напряженных мышцах, отдавалась в суставах, но если сосредоточиться, можно было отделить себя от нее — как учил отец. Можно было превратить боль в фоновый шум, в метроном, задающий темп.

Когда урок закончился, Директор подозвала его к себе.

— Твой отец был убит не случайно, — сказала она без предисловий. — И твоя мать тоже. Это был заказ. Профессиональный, чистый. Те, кто это сделал, не просто грабители или бандиты. Это были люди из нашего мира.

Джардани замер. Губы его побелели.

— Я хочу знать, кто они.

— Узнаешь. Когда будешь готов. А пока твоя ненависть — это топливо. Копи его. Каждая капля боли, каждое оскорбление, каждая секунда страха — все это станет твоей силой. Но только если ты научишься управлять этим.

Она поднялась, поправила складку на платье.

— Искусство — это боль. Жизнь — это страдание. Путь в рай начинается из ада. Ты сейчас в аду, Джардани Йовонович. И ты останешься в нем надолго. Но когда ты из него выйдешь... ты будешь богом.

Вечером того же дня Джардани сидел на своей жесткой кровати и разглядывал ладони. Они были стерты до мозолей — балетные станки не прощали ошибок. Ныли мышцы, горели связки. Но внутри него что-то изменилось. Словно открылась невидимая дверь в ту часть души, о существовании которой он раньше не подозревал.

В дверь постучали. Вошла Ева, держа в руках жестяную кружку с чаем.

— Держи. Помогает от крепатуры.

Он взял кружку. Чай пах травами — горьковатый, терпкий аромат, от которого во рту становилось сухо, а в теле разливалось тепло.

— Почему ты здесь? — спросил он.

Ева пожала плечами.

— Потому что больше нигде. Мою семью убили в Сальвадоре. Госпожа Директор нашла меня, привезла сюда. Сказала то же самое, что и тебе. «Искусство — это боль».

— Это она всем так говорит?

— Всем. Это правда, в которую здесь верят.

Они помолчали.

— Ты уже убивала? — спросил Джардани.

Ева встретила с ним взглядом. Ее глаза потемнели, утратили на секунду свою детскую мягкость.

— Да. Это не то, к чему можно быть готовым. Но это то, чему можно научиться. Как балету. Как дыханию.

Она встала и направилась к выходу, но у порога обернулась.

— Здесь есть правила. Не нарушай их. Первое: доверяй только себе. Второе: не задавай вопросов, на которые не готов услышать ответ. Третье: всегда помни — обратной дороги нет. Никакой. Совсем.

— Я помню, — ответил Джардани.

Ночью, оставшись один, он лежал и смотрел в потолок, на котором дрожали тени от уличного фонаря. За окном шумел Нью-Йорк — чужой, равнодушный, огромный, как океан. А здесь, в чреве театра «Тарковский», зарождалась новая жизнь. Жизнь, в которой не было места слабости. Жизнь, где боль становилась искусством, а воля к жизни — единственным настоящим оружием.

Где-то далеко, на нижних этажах, снова раздался приглушенный хлопок. То ли выстрел, то ли удар тела о тренировочный мат. Джардани закрыл глаза и начал считать эти хлопки, как считают удары сердца.

Один. Второй. Третий.

Биение ритма.

Ритм боли.

Ритм его новой судьбы.

Он еще не знал, что пройдут всего несколько лет, и эти стены станут для него домом. Что имя «Джардани» сотрется из памяти, уступив место другому — короткому и звучному. Что Директор будет не просто наставницей, а кем-то вроде матери — жестокой, требовательной, но по-своему привязавшейся к этому молчаливому мальчику.

Он еще не знал, что Ева Макаро станет его единственным другом и самым опасным соперником.

Он не знал, что ненависть, которую он копил в себе, однажды прорвется наружу и нарисует на асфальте Нью-Йорка кровавые узоры, от которых содрогнется весь преступный мир.

Он знал только одно: нужно выжить. Нужно учиться. Нужно стать лучшим.

Потому что обратной дороги действительно нет.

Засыпая, он повторял про себя слова, которые теперь станут его ежедневной мантрой, его щитом и его проклятием:

«Воля к жизни — мое единственное настоящее оружие».

Так завершился первый день Джардани Йовоновича в театре «Тарковский». Впереди были годы изнурительных тренировок, первые провалы и первые победы, первые друзья и первые враги. Впереди была целая жизнь, которая превратит деревенского мальчика в легенду по имени Джон Уик.

Глава 3. Уроки боли

Шли месяцы, и время в театре «Тарковский» текло иначе, чем во внешнем мире. Оно измерялось не календарями, а циклами боли и восстановления, ритмом изнурительных тренировок, короткими часами забытья и новым пробуждением под резкий стук в дверь. Джардани постепенно переставал быть деревенским мальчиком — его тело менялось, вытягиваясь и наливаясь сухой, жилистой силой. Глаза глубже уходили в глазницы, взгляд обретал ту самую мертвую неподвижность, которую он впервые заметил у Евы.

Обучение строилось системно, как в закрытой военной академии, о существовании которой не знало ни одно правительство. Программа делилась на несколько направлений, и каждое вел отдельный наставник из числа людей Директор — молчаливых, опасных и абсолютно преданных своему делу.

Петр обучал тактике.

— Ты должен думать, — говорил он, расставляя на столе старые, потертые шахматные фигуры. — В боестолкновении побеждает не тот, кто быстрее стреляет. Побеждает тот, кто понимает пространство. Каждая комната — это доска. Каждый коридор — линия атаки. Каждый враг — фигура, у которой есть своя роль и свои ограничения.

Они часами сидели над планами зданий, и Джардани учился читать архитектурные чертежи так, как другие читают книги. Петр показывал, как входить в помещение, как контролировать углы, как просчитывать линии огня и секторы обзора. Вскоре мальчик начал видеть мир иначе: каждое помещение, в которое он заходил, мысленно разбивалось на зоны поражения, а прохожие на улице превращались в потенциальные угрозы с различной степенью риска.

— Ты должен стать невидимым, — продолжал Петр. — Обычный человек замечает только то, что выбивается из привычного фона. Ты должен стать фоном. Серым, скучным, недостойным внимания. Одежда, походка, выражение лица — все это инструменты. Настоящий профессионал стоит прямо у всех на виду, и никто не может его описать через пять минут.

Для отработки этого навыка Петр отправлял Джардани на улицы Нью-Йорка с простыми заданиями: проследить за определенным человеком в течение дня и вечером в точности описать его маршрут, привычки, слабости. Первые три раза Джардани провалился — объекты замечали слежку, и Петру приходилось вмешиваться, уводя ситуацию в сторону. Но с четвертой попытки что-то щелкнуло. Мальчик надел поношенную куртку, ссутулился, погасил огонек во взгляде и растворился в городской толпе, как капля чернил в океане. Когда он вернулся вечером и выложил подробнейший отчет — включая время, когда объект заходил в телефонную будку, и цвет галстука его секретарши, — Петр впервые улыбнулся.

— Хорошо. Теперь ты готов к следующему этапу.

Следующим этапом было оружие.

Инструктором по огневой подготовке оказался сухой, сгорбленный мужчина по имени Грегор — в прошлом, по слухам, снайпер одного из спецподразделений Восточного блока. Левая рука у него плохо сгибалась, а правый глаз был затянут бельмом, но когда он брал в руки пистолет, все его тело словно оживало, наполняясь смертоносной грацией.

Свой первый пистолет Джардани взял в руки в подземном тире театра — длинном, обшитом звукопоглощающими панелями помещении, освещенном рядом тусклых ламп. Это был старый советский ПМ — тяжелый, угловатый, с облупившейся вороненой сталью.

— Запомни правила, — проскрипел Грегор, протягивая оружие. — Первое: пушка всегда заряжена. Не думай, не гадай — всегда заряжена. Второе: не направляй ствол на то, что не собираешься убить. Третье: палец на спусковом крючке — только когда готов стрелять. Четвертое: знай свою цель и знай, что за ней.

Джардани кивнул, сжимая рифленую рукоять. Металл был холодным и чужим, но в то же время — странно успокаивающим.

Первый выстрел оглушил его. Уши заложило, в ноздри ударил запах пороховой гари, а отдача больно толкнула в ладонь. Пуля ушла куда-то в потолок.

— Слабак, — равнодушно прокомментировал Грегор. — Еще раз. Дыши. Выдох — и плавно жмешь.

Он стрелял снова и снова, пока плечо не заныло, а пальцы не покрылись мозолями. Сотни, тысячи повторений. Разборка и сборка — с открытыми глазами, с завязанными, на время, в темноте, под запись шума улицы, которую Грегор включал, чтобы имитировать стрессовую обстановку. Джардани учился различать оружие по запаху масла, по звуку затвора, по весу в руке.

К концу первого месяца он укладывал пятнадцать из пятнадцати в грудную мишень на дистанции двадцать пять метров. К концу третьего — делал это вслепую, ориентируясь только на мышечную память.

— Неплохо, — бросила Директор, после того как он сдал очередной зачет. — Но пистолет — это базовый уровень. Настоящий мастер должен уметь использовать все.

И начался новый круг ада.

Холодное оружие вел молчаливый японец в годах, которого все звали просто Сенсей. Он почти не говорил, только показывал — медленно, плавно, и требовал повторять до полного автоматизма. Ножи, удавки, заточки, шила, даже обычный карандаш — в руках Сенсея любой предмет становился смертоносным. Джардани часами отрабатывал движение, которым карандаш входит в сонную артерию, пока кисть не переставала дрожать от напряжения.

Именно на этих тренировках он начал понимать философию, которую Директор вдалбливала с первого дня. Искусство — это боль. Каждое движение, доведенное до совершенства, рождается из тысяч повторений, из кровавых мозолей, из ноющих суставов. Путь в рай начинается из ада.

Особое место в обучении занимала Книга правил.

Петр принес ее однажды вечером, когда Джардани, совершенно обессиленный, лежал на своей кровати. Это был толстый том, переплетенный в черную кожу, с пожелтевшими от времени страницами. Никакого заглавия, только вытесненный на обложке герб с двенадцатью перекрещенными мечами — символ Высокого стола.

— Это закон нашего мира, — сказал Петр, кладя книгу на табурет. — Ты должен выучить его наизусть. От первой до последней страницы. Каждое правило, каждый протокол, каждую санкцию за нарушение. Здесь нет судов и адвокатов. Здесь есть только правила, и если ты их нарушишь, наказание будет немедленным и окончательным. Без права на апелляцию.

Джардани открыл книгу. Текст был на нескольких языках — русском, английском, итальянском, японском. Статьи и параграфы описывали невероятные вещи: правила нейтралитета отелей сети «Континенталь», протоколы заключения и расторжения контрактов, процедуру объявления кровной мести, иерархию Высокого стола, порядок использования золотых монет — особой валюты, имеющей хождение только в преступном мире.

— Золотые монеты? — переспросил он.

— Единственная валюта, которую признают все, — подтвердил Петр. — Доллары, фунты, йены — это внешний мир. А наш мир платит золотом. Ты будешь получать его за выполненные заказы. Одна монета — одна услуга. Ни больше, ни меньше.

Месяц ушел только на запоминание Книги правил. Петр проверял его каждую неделю, задавая каверзные вопросы:

— Ты в отеле «Континенталь». Твой враг сидит в баре через три стула от тебя. Ты можешь его убить?

— Нет, — отвечал Джардани. — Вся территория отеля является нейтральной зоной. Никаких дел. Любое насилие карается изгнанием из-под защиты Высокого стола.

— А если он убил твою семью?

— Правила не делают исключений для личных мотивов.

— Хорошо. Запомни: в «Континентале» ты не имеешь права даже повысить голос. Нарушишь — и весь мир ополчится против тебя. Никто не поможет. Даже я.

Одновременно с теорией Джардани учился управлять собственным гневом. Это оказалось едва ли не самой сложной дисциплиной. После смерти родителей внутри него поселился темный, раскаленный шар ненависти, который постоянно требовал выхода. В редкие часы отдыха, когда он оставался один, перед глазами вставали картины горящего дома, и руки сами собой сжимались в кулаки.

Директор заметила это раньше, чем он сам осознал проблему.

— Гнев — это топливо, — сказала она однажды, отведя его в сторону после занятий. — Но неуправляемый гнев сжигает своего хозяина. Ты должен научиться превращать его в холод. В расчет. В абсолютное, ледяное спокойствие.

— Я не знаю как, — признался Джардани.

— Узнаешь.

Она приставила к нему еще одного наставника — тибетца по имени Лобсанг, который учил медитации. По иронии судьбы, бывший монах, когда-то убивший человека голыми руками и ушедший в криминальный мир, стал для Джардани проводником в науку внутреннего покоя. Лобсанг учил дышать так, чтобы сердцебиение замедлялось до сорока ударов в минуту. Учил отключать эмоции, как отключают электрический рубильник. Учил смотреть на собственный гнев со стороны, как на чужую вещь, которую можно взять в руки, рассмотреть и положить обратно на полку.

— Ты злишься на тех, кто убил твоих родителей, — говорил Лобсанг размеренным голосом. — Это естественно. Но представь, что твоя злость — это горячий уголь, который ты держишь в ладони. Кого он обжигает? Только тебя. Пока ты злишься, ты слаб. Когда ты остынешь, ты станешь опасен.

Джардани не сразу овладел этой наукой. Много ночей он провел, сидя в позе лотоса на холодном полу каморки и пытаясь успокоить бурю внутри. Но понемногу лед начал сковывать пламя. Он научился засыпать без снов. Научился просыпаться, не чувствуя бешеного стука сердца. Научился смотреть на лица врагов во время учебных схваток и видеть не источник ненависти, а просто мишень. Точку приложения силы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.